

быть моряком, потому что <я> думал, что там не надо будет учить столько книг. Для меня устроили отмену закона об возрасте, чтобы поступить в военное училище. Я работал только над математикой, физикой, химией. Но я тогда уже понял, что то, что пленяло меня, – это рисунок, чертеж. Когда перед экзаменом отец спросил: “Доволен ли ты?”, я сказал: “Нет”. Он удивился и сказал: “Что же, ты хочешь быть моряком?” Я ответил: “Нет, я хочу быть художником”. Он помолчал и потом сказал: “Если хочешь, будь”. И отпустил меня в Европу. Он не этого, конечно, ждал от меня. Но никогда не показывал своего огорчения. Мой дед умер 89 лет, за год до приезда в Мексику императора Максимилиана, а отцу в то время было только 13 лет, и он пошел добровольцем на войну против французов. Дед женился, когда ему было за 70 лет. А бабушка вышла за него замуж 15 лет. Это случилось так. Город был новый, и туда ежегодно съезжались на ярмарку. Один местный богач женился и, чтобы дать пышность свадьбе, назначил ее на время ярмарки. Невеста ехала в карете цугом со свитой, а жених за нею верхом. Дед с товарищами смотрели, и при нем говорили, что это возмутительно, что такой старик женится на молодой. Он сам воспламенился, собрал товарищей, перерезал путь свадебному поезду. Была перестрелка, и он отбил невесту и тут же поехал с нею венчаться. У него было 6 сыновей. Это мне сама бабушка рассказывала и говорила: запомни. А в молодости он сражался в Испании вместе с Риго. Но отказался подписать трактат, т<ак> к<ак> хотел республики, а не констит<уционной> монархии.

Когда я был в Астурии, я встречал массу своих родственников: у него там было много детей от крестьянок».

1930 год

*Марта 14.*

Маруся: «Все акварельки пишешь? Кому это нужно? Ведь это значит ничего не делать. Это г... (крепкое слово). В такое время, когда люди борются за жизнь... Целые дни убивать на это... Сидишь, водишь кисточкой... Гуляй, пиши.

Распредели день. Встасшь в таком-то часу, до такого-то пишешь. Плохо ли? хорошо? Это неважно. Сперва будет бездарно, потом втянешься. А на акварели оставишь 2 часа в день и ни минуты больше. А то иногда к Рожд<еству> и к Пасхе пошлешь кому-нибудь. Стыдно. Я тебе на <?> жизнь сделаю, а себе... И обед, и переписку готовлю».

19<sup>26</sup>/v 30.

Коктебель. Две смерти подряд. С.С. Заяицкий и Н.И. Манасина. Вчера хоронили Н<аталью> И<вановну>. Катя нервна и разговорчива. В комнате душно. Пахнет больным (судном и т. д.). Много народу. Болгарки старые, дачники.

Катя говорит, нервничая: «Я всё ловлю себя на том, что надо это маме рассказать. Пришли болгарки. Принесли в бумажке ладану. Оставили здесь копейки за свечи. Маме бы очень понравилось. Вспоминают маму, как она лечила». У Н<атальи> И<вановны> была любовь к игре в добрую помещицу, любимую народом. Катя с удовольствием продолжает эту игру. «Посмотрите, какое у мамы хорошее лицо. Она страшно помолодела». Она лежит, действительно одетая той молоджавостью и благосклонностью, которые ей были свойственны в жизни. Смерть молодит и успокаивает лица. Она не была такой последний месяц. Она была тяжела, малоподвижна, с сонным лицом. Легко раздражалась. Впадала в детство. В раздражении начинала раздеваться при всех от злости. При ней 2 года назад состояла Лидия Василь<евна> и жаловалась, что она нарочно старается говорить всем неприятные вещи. Она страшно торопилась приехать в Коктебель и умерла через 3 дня по приезде. Точно для этого и ехала. Ее похоронили рядом с М<ихаилом> Петр<овичем>. «Макс, у меня такое чувство, что я снаряжаю маму в долгую дорогу и отправляю ее к папе, как невесту»,— говорила Катя.

Так уходит стар<ый> Коктебель. На отпевании М-те Святская стояла в мужск<ой> фетровой шляпе и моментами en profil perdu\* очень напоминала внешний облик Поликс<ены> Сергеев<ны>. Та боялась умереть в Коктебеле и умерла в Москве после операции. Весть об этом привез

\* В профиль, вполоборота (фр.).

Брюсов. Помню его фигуру в рубашке у открытого окна в день приезда, когда он мне сообщил об этом.

О смерти С. С. З<аяицкого> Маруся рассказывала: «Мы с Катей очень хорошо шли пешком в Феодосию через Курубаш и собирали цветы для С<ергея> С<ергеевича> и представляли себе, как мы принесем их ему и скажем: “Скит вас приветствует”. Мы не сразу пошли к нему, а долго шли городом, заходили за покупками. Катя стриглась. Парикмахер ее долго стриг и очень странно себя вел. Вращал глазами и говорил театральным шепотом. Так что у меня был страх, не повторится ли резанье женщин, как в этой ужасной истории, что в газетах о парикмахере, что зарезал 8 чел<овек> подряд, пока девятый его не застрелил самого. У него был припадок преступления. Так мы дошли до Липочки. И Феодора на вопрос: как же С<ергей> С<ергеевич> себя чувствует? — ответила: “Да со вчерашнего дня уже в часовню поставили”. Мы решили дожидаться приезда Елис<аветы> Иван<овны> — жены. От нее была телеграмма, что она приезжает завтра. Мы ходили несколько раз на кладбище и взяли вместе с Катей все расходы на себя. Ночевали у Липочки. Он простудился на Айвазовских торжествах. Очень страдал. Но он был ведь безумно терпелив и выдержан. У него скопилось много гноя из фистулы. Она заливала его внутрь. У него было самоотравление — его тошнило, он про себя повторял: “Противно... противно...” Всё время просил себя переворачивать. Очевидно, томило. Но когда пришел д<окто>р (Серафимов) и спросил: “Ну, как вы себя чувствуете?” — С<ергей> С<ергеевич> подтянулся и бодро ответил: “Ничего — очень хорошо”. Так что сначала обманул д<октор>а, который, только осмотрев его, увидел, что это уже начало агонии. Он был в полном сознании и совсем не думал, что умирает. Приехала Ел<исавета> Иванов<на>, похудевшая (как девочка) — поплакала. Окаменела. Мы вскрыли гроб. Очень боялись, в каком виде тело. Но, к счастью, оказалось всё благополучно. Лицо похудевшее. Строгое. С нами всё время был и помогал Виктор».

Мы вспоминали первый приезд С<ергея> С<ергеевича> с детьми в Коктебель в 1927 году. Он приехал с детьми Сережей и Мишей на автомобиле. В этот день в газетах была весть

об убийстве Войкова. С. Н. тотчас, узнав, собрался в Москву и уехал с этим же автомобилем. Это было начало его ареста и ссылки. С<ергей> С<ергеевич> всё лето пролежал на террасе своего домика. Принимал участие в коктейбельских спектаклях, именинах. Написал текст рассказа для кукольного действия. Несколько раз пел франц<узские> романсы. Помню страшную гордость в интонации Сережи: «Идите слушать, папа пост». В нем было громадное терпение, выдержанность, тонкость.

*19<sup>28</sup>/, 30.*

Вчера пришли Богаевские. Вечером был вечер рассказов Маруси («Шехеразада»). Начался он с Пасхальной беседы Маруси-девочки с Горьким. Это было в 1900-х годах. У Ольги Ник<олаевны> Поповой: «О.Н. Попова была издательница. У нее был книжный магазин и бывали писатели. Была дача под Петербургом на ст<анции> Графский Павильон. Я у нее гостила на Пасху. Приезжали “художественники”. Худ<ожественный> Театр только что входил в славу. Ставил “На дне” и “Дядю Ваню”. У О<льги> Н<иколаевны> были все художественники и Горький, Чехов. Чехов был грустный, больной, и все о нем заботились. Горький тоже в ту эпоху чувствовал себя очень нехорошо. Мы были на “На дне”, и со мной была истерика во время последнего акта, когда обваривают кипятком. Разговор шел о том, что меня нельзя брать в театр, потому что это слишком расстраивает мне нервы. А через несколько дней была премьера “Дяди Вани”. Я начала говорить, чтобы меня взяли, и сказала: “Ну, как же. Теперь такая радость: весна и Христос Воскрес. Ради Христа, меня возьмите!” Тут надо мной начали смеяться: “Что же, ты веришь, что Христос действительно воскрес? Так, вышел из могилы и ушел?” Это говорил Горький. И потом, обращаясь ко мне, прибавил: “Ведь это всё сказки. Это сочинили. Прочти Ренана”. Это меня страшно поразило и ошеломило. Весь мир для меня перевернулся. Значит, всё это ложь? И батюшка неправду говорит?.. Они все смеялись над моей наивностью. Только Антон Павлович сказал: “Что Вы делаете? Оставьте

ребенка в покое”. И муж Ол<ьги> Ник<олаевны> тоже заступился за меня. Я весь день ходила как потерянная. Как такие умные, такие хорошие – и такое говорят? С этим я не могла помириться». Потом разговор переходит на Ярошенок и на Степановское.

«Степановское было дачное имение Калужской губернии. Там была масса цветов. На цветники тратили по 12–15 тысяч в год. Ел<исавета> Плат<оновна> привозила садовников из Италии, Франции... Там было много детей. Я была воспитанница Ярошенок. Собственно, богата была Елис<авета> Плат<оновна>. Она была из рода Куратовых. Они были не дворяне, а бояре. Всё было англазировано. За каждым ребенком стоял за столом ливрейный лакей. Против дома был цветник. И всё обнесено высокой стеной. По звонку спускались все в гостиную. И там ждали. Потом дворецкий докладывал Елис<авете> Плат<оновне>, что “кушать подано”, и все переходили в столовую. Столовая была большая, двухсветная. А вся молодежь была – будущие террористы. Боря Савинков... Он, входя в столовую, подавал демонстративно всем лакеям руки. Это очень шокировало Е. П. Ярошенко. Мы, дети, его обожали и слушались во всем. Он был тогда вегетарианец. И говорил нам: “Как Вы будете есть этих Павок, Машек, с которыми Вы играете?” И мы его так боялись, что за обедом умудрялись не есть мяса, а заворачивать в салфетки и уносить, несмотря на наблюдение гувернанток и лакеев.\* В Семеновском\*\* были удивительные комнаты. Столовая очень светлая, желто-золотистая. Большие окна, и сверху еще ряд светлых окон. Окна выходили на широкий луг. Подъезд к дому занят японским газоном. Висели большие картины в золоченых рамках. Несколько картин Ярошенко (“Извержение Везувия” и еще пять). Одна картина – старинная: “Авраам приносит в жертву Исаака”. Потом шла гостиная. Там были тяжелые портьеры. Она почти всегда была темная. Потом малая светлая гостиная. Потом почти пустая комната, где были стены выкрашены масляной краской. Там висел рисунок: танцующие женщины Помпейские. И еще другая такая

\* Далее зачеркнуто: «Маруся Беневская тоже была».

\*\* Описка, надо «Степановском». (Ред.)

же — библиотека. Подоконники были мраморные, разных цветов — розовые, зеленые. А над этим комнатами — наверху — была комната Елис<аветы> Платон<овны>. Кушетка, на которой она жила. Спальня была совсем пустая. Потом химический кабинет Вас<илия> Алекс<андровича> из двух комнат: одна очень большая, заставленная химической посудой, и другая, совсем маленькая. А потом к крылам здания шли комнаты детей и моя комната. Еще для гостей был флигель. Сад спускался террасами к реке. Там на воде стоял домик “Арсенал”, где хранились лодки, водные лыжи, гоночные лодки и т. д. Вдоль реки шла липовая аллея, а потом ее пересекала кленовая, светлая, лучистая. А дальше начинался фруктовый сад. В нижней части были гроты, подземелья, пещеры. Там было жутко. Я и не везде там была.

Маруся Беневская. Ее отец был Иркут<ский> генерал-губернатор. Она была очаровательна. Высокая, красивая. Ее страшно баловали. У нее была собственная карета. Внутри белая — атласная. Она ушла в террор под влиянием Бориса. Когда она разряжала бомбу, она разорвалась. У нее оторвало левую руку и правую грудь. У нее хватило мужества уничтожить все документы, свернуть кровавые лохмотья. После ее и нашли по ним. Она долго бродила по окраинам Москвы. Утром пришла в больницу. Ее приняли, перевязали, но через 2 дня д<окто>р ей сказал: “Вас сегодня арестуют”. Ее мать, узнавши, тут же застрелилась. А когда приехал отец ее опознавать, она от него отреклась, сказала: “Я не знаю этого человека”. Ее сослали на каторгу, освободила ее только революция. На каторге она вышла замуж за матроса-потемкинца. Теперь она живет в деревне под Одессой, как крестьянка».

### 7/IX 30.

Вчера вечером чтение Гумилева. Читают Рожд<ественский> и Миних. Дом наполовину опустел. Пошли воспоминания. Рассказывает Маруся об Андрее Белом. Начинается о мемуарах. О неверности Б<ориса> Н<иколаевича> и его взрывчатости:

«Он взрывался всегда неожиданно. Был за минуту преувеличенно любезен. Затем его взбрасывало, как на пружину».

жине, и он оказывался стоящим ногами на спинке стула и, совершая чудо эквилибристики, оттуда низвергался вниз на противника, с широкими жестами, с замиранием голоса и взвизгами. Он ходил в очень короткой распашонке яркого цвета и крошечных трусиках. В купальной простыне, мохнатой и кобальтовой, через плечо. Во время сильных пассажей простыня широко и победно завивалась по всем коктебельским ветрам. Всегда этот жест был издали виден на берегу, где формировался в часы солнечных ванн “мужикей”. Однажды к нам — женщинам — подошла дама — крупная, дородная, с двумя дочками лет 14–15. Она громко ворчала: “Что за безобразие! Нигде нет свободного места. Всюду мужчины”. Я ей сказала: “Да ложитесь с нами рядом”. Она ответила: “Здесь, рядом с голыми телами? Пахнет полом... Гадость”. И пошла по берегу дальше, где лежали мужчины. А Б<орис> Н<иколаевич> почему-то в этот день не был на обычном месте, а лег в стороне за гинекеем в одиночестве. Со своими каска<да>ми седых волос на висках и бритым лицом, в пунцовой распашонке и кобальтовой простыне, его можно было принять за пожилую даму в седых буклях. И вдруг мы видим, он вскакивает: простыня летит, распашонка взвивается. Он начинает церемонно раскланиваться: “Сударыня, честь, место, честь и место... Стыдно, сударыня. Дочерей бы постыдились: взрослые девушки. В двух шагах раздеваетесь: всю свою панораму распахнули. Стыдно, сударыня, стыдно”. После этого он подбежал к нам: “Это мне нравится. Раздевается в двух шагах от меня, всю свою панораму показала”. Подошла и дама в негодовании: “Это су<мас>шедший какой-то... Я думала, это дама... кричит”. Я ей: “Да это совсем не сумасшедший — это Андрей Белый. Он уединился и нервничает”. “Ну, я не знаю, Белый или Черный. Но таких нельзя отпускать одних, без служителя. У меня взрослые дочери”. А Бор<ис> Ник<олаевич> еще долго не мог успокоиться: “И предо мной всю свою панораму раскрыла”. В этот день к Максусу из Симферополя пришла компания молодежи. Там были поэты, почти все студенты, исключенные из университета. Но живые. Культурные, увлекающиеся. С ними было две хороших поэтессы — Юлия Каракаш и Надя

Рыкова. Сестры Изергины. Зина Яроцкая. У всех было разочарование в России и мечта о загранице. Начались споры. Они поперебой утверждали, что в России нечего делать. Им возражали и Брюсов, и Макс. Очень хорошо и разумно. Они внимательно слушали. Брюсов говорил: “Представьте себе юного царя, очень консервативного по направлению и образу мыслей, которому отец, умирая, во время разгрома государства, завещает освобождение крестьян. И тот, вступив на престол, вопреки собственным желанием и вкусам, должен под давлением событий стать реформатором своего государства и освободителем крестьян. И затем вся его жизнь проходит в борьбе с либеральными идеями, осуществителем которых он являлся вопреки самому себе. Это ли не историческая трагедия?” И вот с этой молодежью Белый совсем не смог разговаривать: он сразу начал на них кричать: “Вы ничего не понимаете. Вы желторотые. Разве с вами можно разговаривать? Вам учиться надо!” Словом, они разобиделись на Белого вконец. А он сейчас же удрал в свою комнату и начал собираться, чтобы уезжать. Полетели рукописи, костюмы. “Бор<ис> Ник<олаевич>, куда вы? Ведь нет ни лошадей в город и поезд сегодня не отходит...” Помню, была ужасная история: на вышке должно было быть чтение стихов. Д<олжен> был читать Макс. И перед вечером вдруг приезжает Шенгели. Макс его зовет на вышку и говорит: “Господа, только что к нам приехал Георгий Аркадьевич Шенгели, и потому наша программа меняется: он нам прочтет свои последние стихи”. Бор<ис> Ник<олаевич> чувствует острую антипатию к Шенгели. Но мы это не знали. Он собирается бежать с вышки под разными предлогами. Но Макс его останавливает: “Боря, куда ты? Сейчас Георг<ий> Арк<адьевич> будет нам читать новые стихи... Свеча? внизу? Да зачем же тебе самому идти. Катя, Маруся! Сходите потушите свечу в комнате Бор<иса> Ник<олаевича>”.

Шенгели прочел несколько стихов. Затем его начинают просить прочесть стихи памяти Гумилева. Просит М.М. Шкапская. Г<еоргий> А<ркадьевич> стесняется, говорит: “Это ведь ненапечатанное — может многим не понравиться”. Я: “Тем более... Здесь цензуры нет”. Ш<енгели>



читает хорошее стихотворение, где говорится о том, что приговор поэту писали “накокаиненные бляди”. ...Но что же им до того, когда им светит “вершковый лоб Максима”... “А позвольте спросить, что это: «вершковый лоб Максима?»” — спрашивает Б<орис> Н<иколаевич> срывающимся голосом. “Лоб Алексея Максимовича Пешкова”, — хладнокровно и отдельно отвечает Ш<енгели>. “Как, так говорят о Русском Писателе — в твоём доме, Макс! Нет, этого я не могу допустить”... — “Да, но вы живете в обществе, где не только говорят, но где расстреливают поэтов”, — отвечает Ш<енгели> на этот вызов.

Тук, тук, тук... Он (Б<орис> Н<иколаевич>) бегом сбегает с вышки по лестнице. Я (гов<орит> Маруся) бегу за ним, застаю его в его комнате на палубе. Горит свет, и он сбрасывает книги, тетради и рукописи в чемодан, раскрытый на полу».

1931 год

19<sup>6</sup>/VI 31.

Маруся с утра читает в постели «О. Генри на дне», увлечена и потрясена. «Какая ужасная вещь — государство! Не буду вставать, пока не кончу. Описание казни этого мальчика... Эта книга сильнее Достоевского. Ведь в ней мой брат Степа. Он бы мог войти в эту книгу. Я помню, как я приходила к нему в тюрьму. Мне было лет 7... не больше восьми... Я была такая маленькая, что не могла заглянуть за решетку. Меня офицер приподнял. “Ну что, видишь его?” Я его сейчас же узнала. Степа начал говорить: “Уходи домой, Мари. Ступай к маме”. Он был как беспризорник. Убегал из дому. Раздавал все вещи. После папы много хороших вещей оставалось. Шубы — платья... одежда. Он все раздавал на улице. Мама его останавливала. — Зачем же вещам пропадать, когда есть те, кому они нужны?

Ему мама сшила хорошую рубашку. Он ее подарил. “Зачем же ты ее, Степа, даришь? Ведь это память от меня?” “Но у меня же есть другая...” Но это моя, а не твоя! У него сильно было развито чувство справедливости. Он похож на папу.

У мамы была жалость к людям. А папа был справедлив. Выходил из себя, гневался. Степа был такой же. Он стал беспризорником. Не хотел быть дома. Это была вина дяди Корнилия. Для них мама была отступница – они были раскольники. У дяди К<орнилия> была большая строгость в семье, Степа этого не переносил. Он его даже убить собирался. Мама лежала всегда в больницах. А Степа был в бегах и по тюрьмам. Его хотели в Исправительный Дом отдать. Вот тогда я его и навестила в тюрьме. А мама лежала больная. Я помню, как Степа приходил в Степановское сказать о смерти мамы. Меня вызвали за ворота. Я ему сказала: “Пойдем лучше в дом”. “Чтобы я к ним пошел. Ты можешь... ты девочка”. Я так и помню. Перекресток. Дождь идет, и двое детей на перекрестке прощаются. Я его больше никогда не видела. А несколько лет спустя мне Ел<изавета> Плат<оновна> (нет, помимо нее) показала газету, где было написано о казни Степы. По всем приметам выходило, что он. Я писала в ту местность какому-то незнакомому офицеру. Но ответа не получила.

Степа ехал в Степановское по смерти мамы беспризорником <по> ж<елезной> д<ороге>. Вошел в первый класс. Его вывели оттуда. Потом ехал в каком-то чулане и под вагонами. Он всё раздавал и никогда не пил...»